

18+

Сакутаро Хагивара

О вине

Сборник эссе

Сакутаро Хагивара
О вине. Сборник эссе

«Издательские решения»

Хагивара С.

О вине. Сборник эссе / С. Хагивара — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-00-676526-9

НЕЗАКОННОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ, ИХ АНАЛОГОВ ПРИЧИНЯЕТ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ, ИХ НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ ЗАПРЕЩЕН И ВЛЕЧЕТ УСТАНОВЛЕННУЮ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. В этом сборнике собраны эссе и статьи, в которых Сакутаро говорит о многом: о вине и пьянстве как способе бегства от собственного сознания, о японской поэзии и её столкновении с западными влияниями, о друзьях-писателях — Акутагаве Рюноскэ (1892—1927), Муроо Сайсэе (1889—1962), Вакаяме Бокусуй (1885—1928), Мотодзиро Кадзии (1901—1932), Накахара Тюа (1907—1937) — и о самом себе, вечном скитальце, так и не нашедшем гармонии ни с миром, ни с собой.

ISBN 978-5-00-676526-9

© Хагивара С.

© Издательские решения

Содержание

Воющий на Луну: предисловие от составителя и переводчика	6
Смерть Рюноскэ Акутагавы	7
1	7
2	8
3	9
4	10
5	11
6	12
7	13
8	15
9	16
10	17
11	19
12	20
Конец ознакомительного фрагмента.	22

О вине Сборник эссе

Сакутаро Хагивара

Переводчик Pavel Sokolov

Составитель Pavel Sokolov

© Сакутаро Хагивара, 2026

© Pavel Sokolov, перевод, 2026

© Pavel Sokolov, составитель, 2026

ISBN 978-5-0067-6526-9

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Воющий на Луну: предисловие от составителя и переводчика

Хагивара Сакутаро (1886—1942) – поэт, который писал прозу, как стихи, а эссе – как исповеди. Его тексты – это не просто размышления о литературе, искусстве или жизни, но трепетные, почти болезненно откровенные монологи человека, для которого творчество было одновременно и спасением, и проклятием.

В этом сборнике собраны эссе и статьи, в которых Сакутаро говорит о многом: о вине и пьянстве как способе бегства от собственного сознания, о японской поэзии и её столкновении с западными влияниями, о друзьях-писателях – Акутагаве Рюноскэ (1892—1927), Муроо Сайсэе (1889—1962), Вакаяме Бокусуй (1885—1928), Мотодзиро Кадзии (1901—1932), Накаха-хара Тюа (1907—1937) – и о самом себе, вечном скитальце, так и не нашедшем гармонии ни с миром, ни с собой. Особенно впечатляют его рассуждения об Акутагаве и его творчестве. Это ценное свидетельство о жизни гения эпохи модерна.

Хагивара не боится быть противоречивым: восхищается Достоевским и Ницше, но презирает поверхностный гуманизм; называет себя «расточителем жизни», но завидует тем, кто умеет жить экономно – не в деньгах, а в чувствах. Он смеётся над собственными слабостями и тут же страдает от них.

Хагивара Сакутаро – поэт даже в своих эссе. Он не рассуждает – он проживает каждую мысль, и оттого его тексты, написанные почти сто лет назад, остаются удивительно современными. Это не просто наблюдения японского литератора эпох Тайсё и Сёва, но разговор о вечном: о творчестве как одержимости, о поиске красоты в несовершенном мире, о мучительном осознании, что искусство и жизнь редко уживаются в одном человеке. Особенно в эпоху тьмы и мрака.

Этот сборник – возможность услышать голос одного из самых парадоксальных и пронзительных писателей и поэтов Японии. Голос, в котором звучат и ярость, и нежность, и бесконечное одиночество того, кто так и не смог – или не захотел – стать «как все».

Павел Соколов

Смерть Рюноскэ Акутагавы

1

25 июля я остановился в гостинице на горячих источниках Югасима. За завтраком служанка как бы между прочим спросила:

- Вы знаете писателя по имени Акутагава?
- Да, знаю. А что?
- Он покончил с собой.
- Что?!

Я был потрясен и переспросил. Самоубийство? Рюноскэ Акутагава? Не может быть. И все же, странное дело, в этом известии чувствовалась некая неопровержимая достоверность. Я велел служанке принести газету, чтобы проверить. Но еще до того, как я увидел газету, какое-то инстинктивное предчувствие убедило меня в том, что случилось нечто ужасное.

Что-то необъяснимое – тревожное беспокойство, чувство, похожее на страх, – словно огонь, пробежало по всем моим нервам. Он, с которым я так тепло беседовал всего несколько дней назад перед его отъездом, действительно покончил с собой. Какая неожиданность, какой гром среди ясного неба! Мне даже показалось, будто я нахожусь в кошмарном, абсурдном сне. Но в глубине души я словно ожидал этого, словно каким-то неосознанным чутьем коснулся чего-то сокровенного.

- Вот оно что!

Увидев фотографию в газете, я сжал губы и простонал от боли, переполнявшей мое сердце. Мне стало тяжело и страшно. Голова внезапно наполнилась кровью, я не мог больше ни о чем думать. Мне казалось, что произошло нечто ужасное. Я понимал, что нельзя оставаться на месте. Как лунатик, я поднялся и почти бегом отправился в гостиницу вверх по реке. Там (в «Юмотокан») остановился Одзак Сиро с супругой. Тот был потрясен, ошеломлен, а затем, охваченный необычайным волнением, вскочил. В последнее время он многое узнал о личности Акутагавы через меня.

2

Почему Рюноскэ Акутагава покончил с собой? В чем истинная причина его поступка? Думаю, здесь множество сложных обстоятельств. Многие его друзья, исходя из разных точек зрения, выскажут свои мнения. Что касается меня, я был одним из его многочисленных друзей – а у него действительно было много друзей – и при этом нашему знакомству было всего несколько лет, мы знали друг друга меньше всех. И все же мое единственное право говорить о нем заключается в том, что я был его самым новым, самым последним другом среди всех остальных.

Я придаю особый смысл словам «самый последний друг». Потому что в его последних работах заметны поразительные изменения и скачки. И в этих душевных тенденциях часто угадывается нечто, что находило во мне отклик. Теперь я наконец понял, почему он – великий писатель Рюноскэ Акутагава – проявлял ко мне, ничтожному и безвестному поэту, особую благосклонность и дружбу, а порой даже чрезмерное уважение.

3

Муроо Сайсэй был самым близким другом покойного в последнее время. Их дружба действительно напоминала то, что Конфуций называл «дружбой благородных мужей»: они взаимно восхищались личностью друг друга, связывали их учтивость, вежливость и восхваление добродетели. Наверное, с точки зрения Муроо, Акутагава, обладавший безупречными манерами, богатыми познаниями и образованием, как истинный джентльмен был воплощением высшего идеала человеческой добродетели. А с точки зрения Акутагавы, Муроо, по натуре грубый, не соблюдающий условностей, прямой и искренний, как дитя природы, казался удивительным героем. То есть их дружба – классический пример того, как противоположности притягиваются друг к другу.

Моя дружба с Акутагавой была еще более недолгой, она длилась всего около трех лет. Прежде чем писать о причинах его смерти, мне хотелось бы вспомнить наши теплые отношения за этот короткий период.

4

Когда я жил в Табата, однажды ко мне неожиданно пришел высокий, худощавый человек с длинными волосами.

– Я Акутагава. Очень приятно.

Он вежливо поклонился. Мы с Муроо уже договорились навестить его, поэтому я смутился от такого неожиданного визита и вежливо ответил на поклон. Но больше всего меня смутило то, что, когда я поднял голову, голова гостя все еще была опущена к татами. Я поспешно поклонился еще раз. И подумал: смогу ли я, с моими студенческими манерами, общаться с этим человеком? Мне стало немного не по себе.

Однако проницательный гость сразу заметил мое беспокойство. Увидев мое смущение и растерянность, тот тут же изменил манеры, стал простым и непринужденным и заговорил со мной без церемоний, по-студенчески. С этого момента я почувствовал себя подавленным Акутагавой. По крайней мере, я чувствовал, что меня подавляет в общении кто-то более «искусный», и это вызвало во мне дух противоречия. И это унижительное чувство сопротивления сохранялось в наших отношениях до самого конца. Я всегда нарочно держался с ним вызывающе, стараясь не проиграть. (Как же я был жалок и глуп!)

5

Когда я навещал его, он уже заранее знал все, о чем я хотел сказать. В то время я мучился от глубокого отчаяния, связанного с вопросами мысли и искусства. Я собирался поговорить об этом. Но Акутагава, будучи проницательным, уже предвидел это и заговорил первым, прежде чем я успел открыть рот. Своими излюбленными темами он связывал предмет разговора с тем, о чем я думал и что меня мучило, и в конце концов незаметно воодушевлял, утешал меня, придавал мне сил и смелости.

Но это тоже вызывало у меня недовольство. Потому что в таком поведении Акутагавы я чувствовал назидательность и снисхождение старшего к младшему. Если бы Акутагава действительно был моим единомышленником, разделял мои страдания, наш разговор должен был бы происходить в глубине души, как рукопожатие близких друзей. Однако его отношение было каким-то высокомерным, он смотрел на людей лишь с позиции интеллектуальной проницательности. Поэтому его сочувствие было не более чем снисхождением, даже оскорблением.

Это снова пробуждало во мне дух противоречия. Осознание того, что он, будучи младшим, ведет себя неуважительно по отношению ко мне, старшему, заставляло меня нарочно держаться с ним вызывающе. Больше всего мне не нравилась его «проницательность». То, что он был таким проницательным вызывало у меня недовольство им.

Ах! Но как же я был слеп и глуп! Лишь гораздо позже я начал понемногу понимать истинную сущность Акутагавы.

6

Акутагава обладал проницательным пониманием поэзии. Он внимательно прочитал стихи Сато Харуо, Муроо Сайсэя, Китахара Хакусю, Такамура Котаро, Киносита Мокутаро и других. Более того, он бегло просматривал произведения таких молодых поэтов, как Хори Тацуо, Накано Сигэхару и Хагивара Кёдзиро.

Он часто рассуждал о поэтических кругах, критиковал стихи. И его суждения почти всегда были точны. В своем беспристрастном понимании и взглядах он не уступал самым взыскательным ценителям поэзии. Часто Акутагава высказывал мнение о моих старых стихах, указывал на недостатки в технике выражения. Он всегда смело говорил мне: «Твои стихи – незавершенное искусство». И я соглашался, потому что, как он отмечал, в них действительно было много недостатков.

7

Однажды утром я неожиданно рано проснулся и прибирался в комнате, когда внезапно появился Акутагава. Я использую слово «появился», потому что это буквально так и было. В то утро он примчался, как вихрь, и сразу же взбежал по лестнице на второй этаж. Всегда такой вежливый, соблюдающий церемонии при общении с хозяевами, в тот день он, не дожидаясь, чтобы его проводили, прямо вошел в мой кабинет.

Я был немного удивлен. Это было совсем не похоже на обычного джентльмена Акутагаву. К тому же, для него было необычно навещать кого-то так рано утром. Я подумал, что случилось что-то серьезное.

– Я только что лежал в постели и читал твои стихи.

Едва увидев мое лицо, Акутагава заговорил, даже не поздоровавшись. Потом, спохватившись, извинился:

– Прости, я в ночном халате.

Действительно, он был в ночном халате. Затем, к моему изумлению, он тут же продолжил рассказывать следующее. В то утро он, как обычно, лежал в постели и просматривал почту, сложенную у изголовья. Среди нее был журнал стихов «Японский поэт», который присылало общество. Просматривая его, он дошел до моей небольшой поэмы «Пейзажи родного края». Это было произведение, воспевающее природу моей родины, состоящее из нескольких эмоциональных стихов, наполненных горечью и обидой. Читая их, он почувствовал неодолимую боль и волнение, которые невозможно было сдержать. Тогда он резко вскочил с постели и помчался прямо ко мне. Рассказав это, он извинился за то, что пришел, не умывшись и не переодевшись, прямо в ночном халате.

Эта взволнованная речь очень обрадовала меня. То, что мое ничтожное произведение вызвало у такого строгого критика, как Акутагава, столь сильные эмоции, должно было быть чем-то очень важным. Я был тронут и счастлив. Но в то же время в глубине души зародилось какое-то странное, необъяснимое сомнение.

Как я уже говорил, я всегда восхищался тем, что Акутагава обладал проницательным пониманием и взглядами на наши стихи – творения нового поэтического мира. (В литературных кругах, кроме поэтов-прозаиков, таких как Муроо Сайсэй и Сато Харуо, по-настоящему понимал нашу свободную поэзию только Рюноскэ Акутагава.) В большинстве случаев его критика стихов была справедлива. Я восхищался этой «критикой». Однако его отношение всегда было заметно объективным. Прежде всего, он высказывал мнение о выразительности стихов. Точно так же, как ценность критики новеллы зависит от мастерства описания (выражения), он искал в стихах ту же эффективность описания (то есть технику выражения). То есть его критическое отношение было чисто оценочным, рациональным, эстетически созерцательным, без примеси субъективности.

Поэтому я всегда думал об Акутагаве так: в конечном счете, он – проницательный «ценитель поэзии». Он мог точно определить и критиковать, какие стихи хороши, а какие плохи. Но этим все и ограничивалось. У него не было своих стихов. Он сам не был поэтом. Поэтому все стихи были для него лишь «объектом критики», а не чем-то, что могло бы «тронуть». Точно так же, как театральный знаток интересуется пьесой лишь для того, чтобы «критиковать» ее искусство, а не наслаждаться или восхищаться ею, как обычный зритель. Он оставался вне пьесы, объективно наблюдая за ней, то есть был всего лишь «критиком». И в этом отношении я отличал его от Муроо и Сато Харуо – они, без сомнения, поэты. Те были ценителями поэзии и при этом сами создавали стихи.

Мое мнение пошатнулось после того утреннего события. Как мог человек, не имеющий в душе поэзии, так субъективно, до слез растрогаться чужими стихами? В тот день Акутагава,

охваченный волнением, был не обычным созерцательным эстетом, а настоящим «лириком, погруженным в поэзию», забывшим о всякой критике. В его глазах я увидел неведомую мне прежде поэтическую страсть. И тогда у меня возник неразрешимый вопрос об этой загадочной личности. Это была «таинственная загадка», имевшая какой-то страшный смысл, которую я так и не смог разгадать до самого конца, до его самоубийства.

8

С тех пор мое мнение об Акутагаве начало колебаться и меняться. В конце концов, что за странные страсти пылали в душе этого «человека разума», этого «человека безупречных манер» – каким его знали все? Казалось, что пламя этих страстей, подобно сере в глубинах земли, горит где-то глубоко внутри. Мой интерес к новому другу подстегивал меня исследовать его тайную сущность через приключения дружбы.

Однако судьба, к несчастью, разлучила нас. Вскоре после этого моя семья уехала из Табата и перебралась в Камакуру. Из-за расстояния наше общение естественным образом стало реже. Тем не менее, я старался увидеть «настоящего Акутагаву», «Акутагаву-поэта» через его произведения. Я читал ежемесячные журналы. Но результат меня не удовлетворял. Акутагава, каким он предстал в своих произведениях, оставался холодным «человеком разума», всего лишь интеллигентом с развитым здравым смыслом. Своим прозрачным умом он видел суть всей природы. Но его очки всегда были просто прозрачными. Ничто не могло затуманить его созерцание. Однако он только «видел». И не «чувствовал». Поэтому чем яснее было его созерцание, тем заметнее становился недостаток оттенков в прозрачном стекле.

Естественно, я был недоволен такой прозой. Как субъективист в литературе – а значит, и романтик – я не любил «слишком литературную», «слишком созерцательную» позицию Акутагавы. В моем понимании слова «поэзия» подразумевают субъективность. Поэтому литература без субъективности не была для меня «поэзией» и, с моей художественной точки зрения, должна была занимать враждебную, противоположную позицию. И литература Акутагавы как раз в этом отношении казалась мне врагом – причем самым сильным врагом, настолько великим и могущественным, что борьба с ним приносила бы наибольшую честь. Особенно его афористические заметки («Слова пигмея»), которые он публиковал каждый месяц в «Бунгэй сьондзю», с их злой иронией, играющей остроумием ради остроумия, вызывали у меня раздражение и недовольство, граничащее с ненавистью.

И все же, как ни странно, я всегда питал к этому же автору и противоположные чувства. Потому что в нем было то, что искала наша поэзия – «свежесть», особая острая «чувствительность», какая-то необъяснимая острота нервов, плавающая в живом языке. Действительно, в нынешнем одряхлевшем, слишком старом и вырождающемся японском литературном мире нет такого писателя, «полного юности», как Акутагава. Есть ли другие литературные произведения, столь же наполненные поэтической юностью, как его? Если рассматривать слово «поэзия» как «молодость души», то, по крайней мере, Акутагава – поэт. (На самом деле, поэт – это вечный юноша духа. То же самое говорил и сам Акутагава.)

Литература его, будучи «слишком литературной», в то же время поразительно юношеская, юношеская в своей сути. То, что новый японский поэтический мир находил общий язык с Акутагавой, заключалось именно в этом. И то, что другие признанные мастера не имели связи с нашей новой поэзией, тоже объясняется этим. Действительно, творчество Акутагавы было литературой юношеской вежливости. Точно так же, как и его внешность, в ней было что-то детское, жизнерадостное, стремление ко всему новому и заморскому, невероятно свежее ощущение.

Поэтому Акутагава был для меня одновременно «врагом» и «любимым». Если бы я изменил свое определение «поэзии» в моем понимании, он, без сомнения, был бы поэтом – причем поэтом самой юной эпохи. Но я был упрям. Самый тонкий инстинкт во мне упорно утверждал, что он не поэт, а значит, его произведения меня не удовлетворяли.

9

Однажды, когда я жил в Камакуре, я навестил больного Акутагаву в его доме в Цуруме, выходящем на море. Измученный тяжелым неврозом и геморроем, Акутагава, ставший кожей да костями, все же оживленно разговаривал. Странно, но я помню все, о чем мы говорили тогда. Больной приподнялся на кровати и рассказывал о печальном конце многих гениев, который почти всегда трагичен. «Если ты действительно гений, твоя жизнь неизбежно будет трагичной», – утверждал он с горечью. Затем он с еще большей горечью раскрыл себя. Он говорил, что хочет бросить все заботы и переехать далеко, в Южную Америку.

Эти разговоры Акутагавы были проникнуты необычайной печалью. В его произведениях я часто чувствовал нечто зловещее – то самое чувство скорби, которое в китайском языке передается иероглифом «призрак». Действительно, я видел этот «образ призрака» повсюду: в его внешности и манерах, в его уникальном почерке и стиле письма, а особенно в его произведениях и разговорах.

Как раз тогда я был одержим глубоко пессимистическим взглядом на жизнь, и в каждой существенной точке нашего разговора я чувствовал согласие с ним, ощущал взаимное понимание. Но я не мог точно осознать, в чем истинная причина его пессимизма. Думаю, главными факторами были его безнадежная болезнь и вызванное ею ослабление творческих сил. Кроме того, я предполагал, что из-за своей «проницательности», понимая людей, он просто подыгрывал мне в разговоре, высказывая сентиментальные мысли, которых на самом деле не испытывал. Действительно, это подозрение глубоко засело в моей душе с самого первого дня нашего знакомства. Своей проницательностью он подстраивался под любого собеседника. Но после ухода гостя, наверное, с усмешкой показывал язык. И с холодностью, присущей новеллистам, объективно оценивал, насколько его собеседник был глуп и возбужден.

Эта мысль, конечно, была неприятной. Но я не мог не испытывать подобных подозрений и по отношению к Танидзаки Дзюньитиро, с которым познакомился в Икахо. Дело в том, что, кроме Муроо Сайсэя, я не общался ни с кем из кругов прозаиков, а новеллисты вообще были для меня неизвестным миром. Они – все новеллисты – были для меня «людьми с другой планеты». Общение с ними было для меня наблюдением за другой вселенной. Мы, поэты, все были простыми энтузиастами, почти лишенными объективного взгляда. Поэт всегда пьян и говорит только в пьяном субъективном состоянии. А прозаик всегда объективен ко всему, обладает холодным наблюдательным взглядом. Поэтому, разговаривая с новеллистом, я чувствовал атмосферу, совершенно отличную от нашей компании, леденящую до ожесточения. Эта другая атмосфера смотрела на мое пьяное состояние с ехидным наблюдательным взглядом. Там возникало то самое неприятное ощущение, когда пьяный находится среди трезвых и за его дурацким поведением ехидно наблюдают.

В общении с Акутагавой я всегда инстинктивно чувствовал этот дискомфорт – дискомфорт того, за кем наблюдают. Из-за этого я часто считал его «ехидным ироничным человеком». Однако это было всего лишь моим неверным толкованием инстинктов новеллиста – инстинктов наблюдения, которые стали общей привычкой, – по отношению к Танидзаки и Акутагаве, которых я плохо знал. Они вовсе не наблюдали за мной с такой ехидностью. Просто их манера, профессионально ставшая привычкой, эта манера прозаика, производила впечатление какой-то холодной – трезвой – наблюдательности на нас, людей из другого мира.

Отвлечись от темы, в конце, перед расставанием, он повторил следующие слова, как бы опровергая все предыдущие высказывания:

– Но все, что говорит пессимист, не покончивший с собой, – сплошная ложь.

А затем со смехом добавил:

– И ты, и я – в конце концов, просто фальшивые пессимисты.

10

Рюноскэ Акутагава становился для меня все более непостижимой загадкой, даже таинственной личностью. Он казался человеком, полным «участия» и дружбы, достойным любви и восхищения, а с другой стороны – холодным и ехидным. Самое непостижимое было в том, что, будучи, с одной стороны, крайне холодным рационалистом, с другой стороны, он горел безумной страстью. Он был здравомыслящим человеком, но где-то в нем скрывалась удивительно сверхъестественная, анархическая инстинктивная чувствительность. Все его произведения были слишком здравомыслящими, рациональными, где дважды два – четыре, и все же в каких-то скрытых оттенках языка странно ощущался таинственный «призрак».

Самым противоречивым в нем было то, что, с одной стороны, он был «типичным новеллистом», а с другой – «типичным поэтом». А в моем словаре типичный новеллист и типичный поэт – это совершенно противоречивые, несовместимые крайности. Был ли он поэтом? Или принадлежал к так называемой категории прозаиков?

Пока мы были в разлуке, я много раз размышлял над этим вопросом. И в конце концов пришел к следующему четкому выводу: Рюноскэ Акутагава – это новеллист, страстно любящий поэзию.

Когда я прочитал его серию эссе «Литературное, слишком литературное», публиковавшуюся в журнале «Кадзо», это чувство еще более усилилось. В этой своей работе он постоянно говорит о «поэзии». Конечно, под ней он понимал не формальную поэзию – лирическую или эпическую, – а поэтическое чувство, которое должно быть сущностью всей литературы, то есть «поэтическое чувство». То же значение я часто вкладываю в слово «поэзия». Тот, кто читал это эссе Акутагавы и многие его недавние размышления, знает, как он страстно стремился к чистой поэзии, как отчаянно утверждал, что только в поэтическом может быть истинная литература.

Я не читал и не знал прежних взглядов Акутагавы на литературу. Но то, что в последнее время он так глубоко соприкоснулся с поэзией, стремился к ее истинному духу и, казалось, почти проникал в суть литературного взгляда, было, вероятно, чем-то невиданным ранее. По моим предположениям, в последнее время Акутагава действительно переживал переломный момент. Во всех его прежних мыслях и чувствах происходили какие-то фундаментальные изменения, чувствовалось отважное и трагическое настроение перед вступлением в новую жизненную революцию. И на самом деле, этот поворот в какой-то мере отразился в его произведениях. Например, в мрачной «Каппе» с ее сильным оттенком нигилизма или особенно в недавних трагических шедевральных «Зубчатых колесах».

И все же я по-прежнему сомневался в «поэзии» Акутагавы. Потому что, на мой взгляд, он был всего лишь типичным новеллистом, страстно любящим поэзию. Другими словами, он сам не был поэтом, но принадлежал к другой категории литераторов, стремящихся стать поэтами. Действительно, чтобы называться поэтом, его произведения (за исключением нескольких) были слишком объективными, рациональными, бесстрастными, здравомыслящими. Особенно его «Слова пигмея», публиковавшиеся в «Бунгэй сундзю», и мои так называемые импрессионистические прозаические заметки показывают, насколько его литературная сущность далека от поэтического темперамента. И все же Акутагава сам называл себя «поэтом» и утверждал: «Я творю, чтобы завершить поэта в себе».

Такие взгляды Акутагавы, несомненно, ошибочны в понимании сущности поэзии. По крайней мере, мое убеждение расходится с его взглядом на «поэзию». Поэтому я хотел когда-нибудь при удобном случае поспорить с ним об этом. Как раз тогда в Уэно состоялась встреча с трубкой, где главными участниками были члены общества «Роба», а гостями – Мууро и Акутагава. Я ждал этого случая. Но, к несчастью, Акутагава не пришел, и на обратном пути я изложил свои аргументы членам общества «Роба». «Я не думаю, что в искусстве Акута-

гавы есть поэзия. Иногда в нем есть самые изысканные поэтические выражения, поэтические замыслы. Но это неорганично. Нет души как жизни». Я довольно смело высказал эту мысль.

11

Через некоторое время однажды ночью Акутагава неожиданно навестил меня. В тот вечер у меня случайно собралось много людей, так что мы почти не смогли поговорить. К тому же Акутагава пришел с группой молодых людей, включая Конака Рюити и Хори Тацуо. Он оставил в подарок бутылку хорошего шампанского и ушел. (Теперь, оглядываясь назад, понимаю, что это шампанское стало его посмертным подарком.)

Но когда Акутагава пришел, увидев меня, то сразу же воскликнул:

– Говорят, ты сказал, что я не поэт. Почему? Я хочу услышать твои аргументы!

Его тон и выражение лица были резкими. Хотя в темном входе было плохое освещение, его выражение, когда он подошел ко мне с этими словами, было довольно устрашающим. В тот момент его лицо определенно изменилось. Нескрываемая ярость проявлялась в его вызывающем тоне.

Мгновение! Всего лишь мгновение, но я почувствовал беспричинный трепет. Мне стало страшно, как будто в грудь воткнули что-то острое. За его спиной стояла группа молодых людей. Я подумал, что если что-то случится, они все набросятся на меня.

«Мсть! Он пришел мстить». В тот миг я действительно так подумал.

12

Через несколько дней я сам отправился навестить Акутагаву. Он как раз беседовал с другим гостем и выглядел ужасно измождённым. В его глазах не было привычного блеска, он казался печальным и постаревшим. Но я, как обычно, не обращая внимания на его настроение, без церемоний высказал всё, что думал. Постепенно на его лице появилось обычное оживление. Никогда раньше я не видел в его глазах такой юношеской непосредственности, такой студенческой во внешности. Действительно, в его болезненном теле была «юношеская отвага», переполненная бесконечной энергией.

После ухода гостя он снова повторил свой резкий вопрос предыдущего дня:

– Ты сказал, что я не поэт. Почему? Объясни ещё раз.

Но на этот раз он был очень спокоен. Его голос даже звучал сдержанно и печально. Тогда я подробно изложил свои прежние мысли.

– В конечном счёте, ты типичный новеллист.

Когда я сделал этот вывод, он печально покачал головой.

– Ты меня не понимаешь. Совершенно не понимаешь. Я слишком поэт. Я вовсе не типичный прозаик.

Затем мы немного поспорили о различиях в понимании сущности поэзии и романа. И в конце концов я сказал: если я буду развивать свою литературную теорию с моей позиции, в конечном итоге Акутагава окажется на враждебном полюсе. В литературных взглядах, к сожалению, мы враги.

– Враги? Я твой?

Сказав это, он грустно улыбнулся.

– Напротив, – продолжил он.

– Я думаю, что в мире нет людей, более похожих друг на друга, чем ты и я.

– Как личности... возможно... Но произведения совершенно разные.

– Разве? Они одинаковы.

– Нет. Разные.

Мы поспорили. Но в конце концов он устал от моего упрямства. И сказал с обидой в голосе:

– Я тебя понимаю. А ты, ты совсем меня не понимаешь. Нет. Ты даже не пытаешься понять.

В тот день он во всём производил впечатление глубокой печали. Даже тон его голоса звучал очень сдержанно. Он жаловался на многое. Как сильно стремился к анархической свободе. По своей сути он был скорее гораздо большим анархистом, чем я (автор). (Незадолго до смерти Акутагава опубликовал мою критику в журнале Китахары Хакусю. В той статье он назвал меня типичным поэтом-анархистом.) Затем он говорил о том, как хотел бы бросить жену, детей, дом и присоединиться к свободным странникам. Как хотел бы, подобно Муроо Сайсёю, следовать своим чувствам и действовать свободно, по инстинкту. Со скорбной меланхолией в голосе он рассказывал, как отчаянно стремился к этой свободе в прошлом, и как в конце концов всё – любая свобода – оказалось для него недостижимым.

Пока я слушал его, меня охватила трогательная сентиментальность. И я смутно, но ясно осознал, что в сущности этого гениального литератора кроется нечто новое, чего я никогда не замечал в наших прежних отношениях. Я действительно не подозревал, что Акутагава был таким истинно поэтическим энтузиастом. Как глупо я сомневался в его «проницательности», подозревая, что он нарочно подстраивает тему разговора под меня и говорит о жизненной скорби, которой на самом деле не чувствует. Более того, я даже воображал его ехидным негодем, который после разговора показывает язык – злобным сатириком.

Как же я ошибался, и как это бесит! Где ещё найти такого простого, чистого, прямодушного, как ребёнок, человека, как Акутагава? То смутное, беспричинное восхищение, которое я испытывал к нему с самого начала, на самом деле было вызвано именно этой его чертой. Теперь я понимаю: с самого начала нашего знакомства он открывался мне с искренней, чистой душой, без всякой напускной важности или позёрства. А я, как же я был низок и глуп! То напускал на себя важность без нужды, то смотрел с бессмысленным подозрением, то глупо осторожничал. Когда я узнал о смерти Акутагавы, мне было стыдно, я готов был от стыда умереть, кусая язык.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.